**Из номера в номер--**

**Сергей ЧЕРЕПАНОВ**

*(Главы из документальной повести « Старая рукопись »)*

**1989\_07\_сент**

Сергей Иванович Черепанов — известный ураль­ский писатель, автор десяти книг. Особую популяр­ность завоевали его романы «Помоги себе сам» и «Родительский дом». А свою творческую биогра­фию он начинал с «Челябинского рабочего», где проработал с 1928 года до самого ареста в 1938-м. Этот драматический момент положен в. основу документальной повести «Старая рукопись», напи­санной в 50—60-е годы. Отрывок из нее мы и предлагаем читателям.

В конце лета тридцать седь­мого года мы с редактором Каряевым возвращались с со­брания областного партийного актива. Докладывал' на активе начальник отдела управления НКВД майор Полевик.

В зале собрания, пока он зачитывал личные признания Рындина и других его «со­участников», стояла напряжен­ная тишина. Ма лицах людей я не приметил ничего, кроме тревоги.

— Рындин и Кабаков созда­ли «право-троцкистский блок на Урале». Главной целью бло­ка они ставили свержение, да­же убийство товарища Стали­на, нашего великого учителя и вождя, а также шпионаж в пользу иностранных государств. Все ими признано и личго подтверждено,— заявлял Поле­вик.

«Как это могло случиться?»— молча недоумевал я и на ли­це Каряева заметил смятение...

Мы оба хорошо гнали Рын­дина и многих других руково­дителей города и области, они считались умелыми, дельныдди, сысокоидейкыми, а как же произошло их перерождение в антисоветчиков? Причем это случилось не с одним, не с десятком, а с огромным коли­чеством людей?

Доклад закончился бурными аплодисментами. Хлопал в ла­доши новый секретарь обкома Огурцов, весь президиум, весь наполненный до отказа зал, и ***ты*** с Каряевым тоже хлопали, хотя серость и тревога с лиц ни у кого не исчезли.

По дороге в редакцию я спросил у Каряева:

— Вы верите? Неужели все правда?

Он пожал плечами и про­молчал...

Его взяли в конце 37-го го­да, а 12 октябоя 1938-го на­ступил и мой черный день.

Шел дождь с крупными хлопьями мокрого снега. По­белели дома. Грязно, промозг­ло и холодно. К ночи навали­валась непроглядная темнота. Все во тьме. И предчувствие неминуемой беды,.,

**1.**

Я сидел в кабинете редакто­ра, правил статьи и вычитывал оттиски готовых полос в не-

установленные законом пра­вила:

— Вы обязаны прежде предъявить мне ордер, подпи­санный прокурором,— напо­мнил я.—Будьте добры.

— Прокурор у нас в подва­ле сидит, можешь там с ним познакомиться...

Три часа я сидел в комнате дежурного коменданта управ­ления НКВД. Стадухин куда-то ушел. Мимо меня проходили солдаты: очевидно, менялся ка­раул. Я мог свободно уйти, скрыться, но это означало бы признание виновности, и я не мог об этом даже помыслить. Мне казалось, что арест вре­менный, разберутся и выпу­стят. Разве можно обвинить невиновного? Наконец, уже в одиннадцать часов ночи по­явился Стадухин и вывел меня снова на улицу. Ему полага­лось исполнить еще одну про цедуру: обыск!

После отъезда жены кварти ра у меня была заперта. Клю хранился у матери, а она жи­ла отдельно, у младшего брат<:.

Подъехали к нашему дому, и тут я вспомнил об этом..

— Далеко ли отсюда? — устало спросил Стадухин.— Пс чему сразу не назвал, куд ехать?

— Растерялся... Но это че­рез три дома...

— Тогда сходи пешком, ни­где не задерживайся!

— Пойдемте вместе. А вдруг, действительно, я наду­маю убежать?

— Сказано иди, значит, иди! От нас далеко не упрыгаешь!

Он говорил устало. Навер­ное, хотелось поспать. И дождь усилился. В такую погоду хо­рошо быть дома, пить горячий чай, а потом завалиться в по­стель.

В моей квартире, пока я пе­реодевался, укладывал в рюк­зак необходимые вещи, смену белья, бритву, книгу для чте­ния, карандаш и бумагу, Ста­духин осмотрел стены, ничего подозрительного и ценного не нашел, потом бегло проверил книги на полке, вынул и поло­жил в свой портфель «Дека­мерона» Боккаччо, три тома из собрания сочинений Шекс­пира.

Все во тьме. И предчувствие неминуемой беды,.,

**1.**

Я сидел в кабинете редакто­ра, правил статьи и вычитывал оттиски готовых полос в но­мер на завтра.

Месяц тому назад в одной городской газете редактор «прохлопал» серьезную опе­чатку. Вместо «Под руководст-врм товарища Сталина» полу­чилось «Под куроводством то­варища Сталина». Редактора, корректора и наборщика упек­ли в тюрьму.

Я безмерно уставал, тщатель­но перепроверяя тексты и пе­реносы, честно говоря, каж­дый раз страшился подписы­вать газету на выпуск,

Накануне моя жена с ребен­ком уехала в Харьков к роди­телям, и я намеревался при­лечь на диване и хотя бы часа два поспать. Однако это же­лание сразу пропало, когда вдруг открылась дверь и кэд-ровичка Чернова меня вежли­во позвала:

— Вас просят зайти в мою комнату.

— Чуть позднее, я еще не закончил читку полос.

— Нужно срочно!

В ее комнате меня встретил военный с эмблемой на ру­каве.

— Стадухин,— назвал он се­бя и тут же скосил глаза на Чернову. Она кивнула:

— Он самый...

Мне вдруг припомнился анек­дот: «Позвали на минутку, а отпустили через десять лет».

Стадухин выглядел .устало и тускло. В форменной одежде все это сглаживалось. Но имен­но она и острые, отчужденные глаза действовали, как при­ставленный к виску револьвер.

Меня зазнобило, сердце сжалось, и, наверное, я по­бледнел.

Стадухин явно не выказывал ко мне интереса, и не было в нем неприязни: на его счету подобных мне было уже вели­кое множество. Он привык. Ему наскучило. Люди для него не- больше, чем кролики.

Он присел к столу, указал мне на стул напротив себя и, закуривая, равнодушно спро­сил: \*\*"

— Ну, как справляешься без редактора?

— Пытаюсь,— сдержанно от­ветил я.— Только очень труд­но. Дома почти не бываю, сплю в кабинете два-три часа в сутки.

— Ну, теперь наступит дол­гий отдых,— сказал он.— У нас в гостях время свободное...

— Позвольте, я позвоню в обком. Завтрашняя газета дол­жна выйти в срок.

— Я сам позвоню!

Он бросил окурок в пепель­ницу, встал, зевнул, поправил на себе ремни.

— Одевайся. Пойдем. Волнение во мне улеглось:

я вспомнил, что существуют

нашел, потом бегло проверил книги на полке, вынул и поло­жил в свой портфель «Дека­мерона» Боккэччо, три тома из собрания сочинений Шекс­пира.

Время перезалило за пол­ночь. Ошеломленный, как тяж­ко больной, я все воспринимал с безразличием, не проявляя никакого внимания к тому, что происходит.

На улице по-прежнему бу­шевала осенняя непогода. Ме­ня завезли на машине во двор здания НКВД, оттуда по лест­нице спустили в глубокий под­вал. Пахнуло чем-то промозг­лым, как в нетопленой бане, где прогнили полы. По обе стороны длинного коридора массивные железные двери, наглухо запертые. И тишина. Мертвая тишина.

Принял меня от Стадухина начальник этой тюрьмы стар­ший лейтенант Бессмертный. Однако на Кащея он не был похож. Жирный такой, с одут­ловатым лицом, глазками вну­три узких щелей. Он даже не посмотрел на меня, позвал солдата и приказал:

— Рахманкулов, сделай это­му типу шмон, потом запри его до подъема в сортир.

Тот забрал у меня книгу, боитву, пасту, обрезал с руба­хи и брюк пуговиць1, снял по­ясной ремень. Действовал умело, быстро, натренирован­но. Отвел в сортир, пнул но­гой и захлопнул дверь.

Такого количества крыс, ко­торые сразу подбежали ко мне и принялись обнюхивать обувь, я еще никогда не ви­дал. Они были такие же от­кормленные и ленивые, как Бессмертный. Я стоял перед ними, опираясь на дверь, не смея пошевелиться. Они мог­ли, наверное, и загрызть ме­ня, но были сытые и оставили меня на потом. Я начал сту­чать кулаком в дверь. Рахман­кулов пригрозил:

— Тихо, контра вонючая, не то переселишься в кандей.

**2.**

Сколько времени я простоял так, одному богу известно. Ручные часы с меня сорвали, сортир был без окон, лишь мерно гудел • вытяжной тру­бе вентилятор и под потолком светила тусклая лампочка. Же­лания поразмышлять и оце­нить свое положение не было. Вполне очевидно, что стане' со мной завтра, и будущее ка­залось таким же темным, как промозглая неприютная ночь. У меня одерзвянели ноги, не плечах и на спине будто ле­жала невыносимая тяжесть. Я, вероятно, упал бы на потребу крысам, но услышал громкий, дребезжащий звонок в кори­доре. И тотчас раздалась команда: «Подъем! Готовьсь на оправку!».

**(Продолжение следует].**

**1989\_08\_сент**

*(Главы из документальной повести «Старая рукопись»)*

Камера № 12, куда меня отвел Рахманкулов, была су­щим раем по сравнению с сортиром, нужником, в кото­ром я провел ночь. Хотелось немедленно упасть прямо на голый пол и сразу уснуть. Го­лова плохо соображала, глаза слипались, Рахманкулов преду­предил:

— До отбоя в 11 вечера ни­кому спать не положено.

Он был краток и крут.

Сон сразу пропал, словно мне плеснули в лицо ледяной водой: я увидел знакомые ли­ца. Прежде всех подошел Го-берман — председатель обл-плана, потом председатель об­ластного суда и секретарь райкома партии из Миньяра. С Гоберманом мы встречались в облисполкоме и на собрани­ях партийно-хозяйственного ак­тива. Тогда он, человек очень подвижный и бойкий, всегда наглаженный - наутюженный, знающий себе цену был не очень доступен. Но здесь он встретил меня, как долго­жданного друга.

— Ба-а! И вас пригласили? Милости просим в нашу оби­тель. Вот ваша койка, увы, без перины.

Он поздоровался со мной за руку и почему-то принялся обнюхивать.

— Понимаю: вы ночевали в отдельном номере — сортире. Здесь это штамп. Всех, кого привозят после отбоя, сажают туда, чтобы сразу повлиять на психику. Однако вас приятно обнюхать: воздух с воли — свежий и чистый,

-— Отстань от него,— хмуро сказал председатель областно­го суда.—Дай человеку опом­ниться!

Гоберман обильно поседел и отощал, но явно чувствовал себя хорошо, Председатель областного суда — латыш, не твердо говоривший по-русски, высокий, костистый, с глубо­ко запавшими от истощения глазами, сразу же отошел.

Гоберман начал меня про­свещать.

— Жилье у нас, как видите, тесное, но терпимое: по пол­тора квадратных метра на че-ловеь?а. Два шага вперед, два назад — вполне t достаточно для прогулки. И познакомь­тесь. Вот этот еврей Арбесба-уэр был секретарем райкома в Петухозо. А этот плечистый молодец—пахарь и сеятель. А вот этот, неизвестной нацио­нальности, преподаватель из пединститута Давыдов — по­следняя сволочь!

— Сам ти сволочь!—сразу откликнулся человек, сидевший на краю кровати.

Произношение у него было странное. От безделья он раскладывал на кровати куч­ками спички: одну, вторую, третью

токолы допроса. Три месяца отмыкал, а потом все же не вытерпел и сказал, что хотел Саломатов...

— Это кто?

— Мой следователь Алек­сей Сергеич, А что?

— Кажется, я с ним когда-то встречался^.

Но я соврал. Этот Салома­тов был моим земляком и вдо­бавок родственником. Его отец убегал с колчаковцами далеко . в Сибирь, когда вернулся в село, местный Совет не дел ему права на жительство. На­ше родство было далекое: мой дядя Григорий, вернув­шись из Красной Армии, же­нился на его свояченице,

-— Мы Алеху Саломатоаа в комсомол не приняли, в кЛуб не пускали как чужака. Он вместе с матерью Степанидой Андреевной в конце двадца­тых годов исчез из села, на долгие годы след его затерял­ся, и вдруг^.

Я поопасался рассказать об этом Гоберману, чтобы не на­жить себе новой беды, как знать,' подума.л я, не сведет ли теперь Саломатов личные счеты.

Вероятно, Гоберман что-то заметил у меня на лице и так­тично, как ни в чем не быва­ло, сказал:

— Не позавидую вам, если вы встретитесь еще раз. От него без крови никто своими но­гами не уходит.

—\* Прекрати, Гоберман! — снова потребовал председа­тель суда.—■■ Дай хоть на вре­мя забыться...

— Вот человек,—- похвалил его Гоберман.— Удивительной крепости. У него язва желуд­ка, он спасается только содой, а они бьют его в это самое место,..

Все-таки просьба председа­теля суда он уступил,

— Скажите мне, молодой человек, только честно и от­кровенно, что вы предпочли бы в экстремальных условиях: унижение на всю жизнь, пыт­ки и страдания или рас­стрел?—некоторое время спу­стя тихо спросил меня Гобер­ман.

У него нервно дернулись губы, короткая судорога иска­зила лицо.

Вопрос был ужасный.

— А как бы вы поступили?— затрудняясь ответить, смутил­ся я.

— Я предпочитаю смерть! Это, знаете, проще.

— Почему?

— Надо пережить всего лишь минуты перед расстре­лом, а потом чик-чирик — и конец. Вы даже не услышите выстрела.

— Чепуха! — осудил его

следняя сволочь!

— Сам ти сволочь!—сразу откликнулся человек, сидевший на краю кровати.

Произношение у него было странное. От безделья он раскладывал на кровати куч­ками спички: одну, вторую, третью.

— Когда-нибудь я тебя при­душу! — серьезно пообещал ему Гоберман.— А за что? — он обернулся ко мне.—Недо­стоин жить даже среди вол­ков. Обратите внимание на спички. Вы думаете, у него это такая игра? Нет! Это лю­ди. В первую кучку он кладет тех, кто им уже оговорен и арестован. Во второй кучке — те, кого он оговорил на до­просе как своих соучастников. Ну, а в третьей кучке — это, кто еще проживает на воле...

— А пачиму я должен стра­дать адын? — вскинул голову Давыдов.— Я сижу, бедствую, а знакомые тем временем хо-дют по улицам, пасещают театр, любят женщин. Почиму? Я не знаю и ты тоже нэ зна­ешь! Не-эт, пусть их тоже кос­нется, Чем больше народу сю­да натолкают и уничтожат, тем скорее партия осознает...

— Замолчи! — прикрикнул на него председатель област­ного суда.— Не провоцируй!

— Ещё раз, мой дорогой, обратите внимание, что при нем,— Гоберман кивнул на Да­выдова,— надо помалкивать, иначе донесет. Хотите гово­рить, так говорите сами с со­бой, Мы все между собой го­ворим одно, а думаем не о том, о чем говорим...

Он оборвал фразу, но я по­нял, что прикончить Давыдо­ва немыслимо.

Того вскоре увел Рахмвнку-лов «наверх», к следователю, **и** я подумал: «А можно ли доверять остальным?»

— Привыкайте! — двузначно произнес Гоберман.— Забудь­те, что у вас было. Вспоминать прошлое, сидя в подвале, очень мучительно. Пока не на­чались допросы, приготовь­тесь. Теперь вы не принадле­жите себе. Вы никто! Вас да­же могут не спрашивать, в чем вы виноваты **и** виноваты ли: тройка или Qco6oe сове­щание, по закону от 1 декаб­ря 34-го года, заочно приго­ворит вас к расстрелу **и** че­рез пять минут после при­говора...

— Перестань, Гоберман,— резко оборвал его председа­тель областного суда.— Не трави душу,..

— Наоборот, я хочу облег­чить душу **и** внести ясность. Прибыл новичок. Конечно, он еще думает, что с ним вежли­во разберутся, допросят, да­же обласкают **и** с поклоном отпустят.

— А вы разве ни на что уже на надеетесь? — спросил я у Гобермана.

— Со мной... все готово: я разоружился и подписал про-

Это, знаете, проще.

— Почему?

— Надо пережить всего лишь минуты перед расстре­лом, а потом чик-чирик — **и** конец. Вы даже не услышите выстрела.

— Чепуха! — осудил его председатель суда. — За жизнь до конца надо бороть­ся! Ты, Гоберман, плохой ком­мунист!

— У .вас железная шкура **и** непробойная голова,— почти­тельно заметил Гоберман. — Вы юрист, и с вами даже мой опер Саломатов не справится.

— Мы часто бываем наивны и слишком доверчивы,— про­должал тот.— Оперы строят для нас небылицы, а мы. не понимаем, что это ложь. Мой опер Сухарев, у которого еще молоко на губах и знаний на три копейки, пытался меня убедить: «Это необходимо для нашей партии!» За дурачка меня принял. Он даже не смог ответить на мой вопрос: «Если нужно, чтобы коммуни­сты истязали и истребляли друг друга, то что может вы­играть партия?»

— И что же?

— Абсурд **и** бессмыслица! Если партии для пользы нуж­на моя жизнь, я отдам ее без оглядки! Но для карьеры Су-харево — чуть погожу! И во имя товарища Сталина...— он запнулся и замолчал.

— А знает ли он, что тво­рится? — простецки спросил я.— Или НКВД без его ведо­ма...

— Давайте без догадок и домыслов,— оборвал предсе­датель.

Этот разговор, как отдуши­на, взбодрил меня. Передо мной был образец челозека **и** коммуниста. Позднее я встре­чал их немало. Они были примером мужества и партий­ности.

**3.**

Мой первый день без сво­боды медленно истекал. За решеткой узкого окна прогу­ливался часовой, были видны только его ноги в кирзовых сапогах и подол шинели. Лучи подвала не достигали. Под потолком непрерывно свети­ла электролампа. Стены каме­ры казались грязно- желтыми, гнетущими, как осеннее поле.

Меня клонило ко сну. Од­нако стоило лишь присесть за стол и положить голову на ру­ки, тотчас открывалось смот­ровое оконце в железных дверях- **и** коридорный надзи­ратель громко повелевал: «Встать!»

Арбесбауэр **и** Андреев, то­же бывший секретарь райко­ма, стояли в углу **и** курили. Едкий дым плавал по камере, не находя себе выхода.

**[Продолжение следуех. Начало в № 207].**

**1989\_15\_сент**

Они обсуждали вполголоса, кем себя признавать: правыми или троцкистами? Арбесбаузр говорил, что прошлой ночью на допросе он поспорил со своим опером:

— Я ему говорю: «Ну, что вам еще надо: я раскололся, подпишу, по вашему указанию любой протокол, на любой сю­жет, но поймите: не хочу по­падать в правый уклон! Я не бухаринец, не разделяю его теории и считаю, что все его сторонники не способны под­нять массы и повести их за собой. Иное дело троцкисты. Они мне больше по нраву. Троцкий еврей, я тоже еврей, чем не пара? Хочу с ним. Ес­ли умирать, то, по крайней мере, настоящим бандитом».

— Уговорил? — засмеялся Андреев.

— Нет!—говорит.—Ты пра­вый. И точка!

Оба они рассмеялись, хотя тому и другому было явно не весело.

— А мне все равно,—без­различно сказал Андреев,— хоть туда, хоть сюда. Одина­ково на лбу штамп: враг на­рода!

Их объединяла общая безы­сходность.

— У меня и жена арестова­на как моя соучастница, — грустно добавил Андреев.— Детей отправили в детский спецдом.

— А может, кто-нибудь пробьется к товарищу Стали­ну,— без особой уверенности сказал Арбесбаузр и тут же минуту спустя добавил:— Но почему мы думаем, что ему ничего неизвестно?

— Думай, сколько угодно, но вслух не высказывайся,— дружески заметил ему Гобер-ман.— Мы знаем, что ничего не знаем!

Время двигалось медленно, От его пустоты можно было оглохнуть.

Гоберман и председатель суда сели играть в «щелчки». Эта немудреная детская игра вдруг пригодилась тут, как средство против бесконечной тревоги.

Я наблюдал за ними и ду­мал: вот еще недавно они бы­ли на высоте, распоряжались людскими судьбами, что-то решали, творили, вполне уве­ренные, что исполняют свой гражданский и партийный долг, и вдруг оказались не теми, кем были. Так правда это или неправда?

Невольно сравнил их судьбу со своей собственной. Я по­пал, очевидно, не просто как заяц в капкан. Припомнилась моя статья в газете о непо­рядках в областнол\* управле­нии местпрома. И дернул же меня черт задеть в статье кадровичку Романову, кото­рая оказалась женой работ­ника областного управления

ло—не отрицаю, но это **дело** житейское. Весной тридцать пятого года правление нашего колхоза «1'руженик» назначи­ло меня полевым бригади­ром. Выделили бригаде двух лошаденок, с зимы заморен­ных, десять коров и двадцать бабешек. И вот изволь: сто гектаров земли вспаши, забо­рони и посей зерно—за не­исполнение головой отвеча­ешь. У нас ведь запросто: ви­новат—не виноват, сейчас **же** тебя за шиворот и в кутузку. Весна в тот год выдалась дружная, земля вскоре поспе­ла. Ну, вот, вывел я свою бригаду на пашню. Заморем-ные коровешки в борозде **еле** копыта подымают, бабешки ревмя ревут, а я сам **не** свой, озлился донельзя, ору, мат ка­каюсь, только тем и держу дисциплину. Вдруг вижу: **по** проезжей дороге легковая машина катит. Откуда ее чер­ти занесли, с которой сторо\* ны, но, видать, городская, и сидят в ней четверо незнако­мых мужчин, все по городско­му одетые, в галстуках. Оста­новилась машина у обочины возле меня. Вышел из **нее** один из них, росту невысоко­го, плечи, пожалуй, пошире моих. Я-то посчитал, что это охотник, много их весной **по** нашим болотам и озеркам промышляет. Ладно, думаю, я-то такое местечко покажу, где даже ворон не увидишь! Только настроился, а человек заговорил совсем не **о** том: «Как, товарищ, управишься с посевной?» Я ему: «Проезжай дальше, без тебя тут тошне-хонько. А не то попробуй, стань в борозду, тогда на сво­ем горбу почуешь, как нам хлебушко достается». Хотелось его сразу спровадить, а он обо­шел весь стан, осмотрелся. «Хорошо тут у тебя, на что-то сомнение берет, по силам ли тебе такая нагрузка?». У меня к злости еще и обида приба­вилась: «Сколь могу, столь сделаю, хоть и голодный!». Он этак покосился на меня: «Ты, товарищ, не серчай, я ведь го­ворю тебе не в укор!». Тогда я и предложил ему: «А не в укор, так поборемся и прове­рим на что я способный!». Он тотчас пиджак с плеч долой, рукава засучил, мы схвати­лись. Я его приподнял, да так шмякнул об землю, чуть не зашиб. Другие мужики, кои с ним прибыли, из машины по­выскакивали, посчитали, будто мы подрались, но он их от­странил, а мне поклонился: «Большое спасибо!». И уехал. А час спустя прибежал к нем на стан председатель колхоза Ягодин, перепуганный: «Ты что натворил, Матвей? Самого сек­ретаря обкома Кузьму Василь­евича Рындина чуть не при­кончил. Дождешься, он тебе это припомнит».

это или неправда?

Невольно сравнил их судьбу со своей собственной. Я по­пал, очевидно, не просто как заяц в капкан. Припомнилась моя статья в газете о непо­рядках в областном управле­нии местпрома. И дернул же меня черт задеть в статье кадровичку Романову, кото­рая оказалась женой работ­ника областного управления НКВД — Романова. Чем не повод для ареста? Но вот эти люди, особенно председатель суда, в чем виноваты? Им-то за что припаяли правый и ле­вый уклон? Почему их прежде не трогали, если уже было известно об их отходе от ге­неральной линии партии?

Щелчок за щелчком полу­чал Гоберман, а председатель суда над ним добродушно по­смеивался.

За окном шел густой снег. Хлопьями залепило наше кро­шечное оконце, и свет померк. Стало еще глуше и неуютнее. День продолжается или уже наступает вечер? Допросы, сказал мне Арбесбауэр, про­водятся по ночам. Так следо­ватели давят на психику.

Значит, надо ждать ночи, а у меня уже не было сил. На­волновался, и невыносимо хо­телось спать.

Коридорный надзиратель поминутно покрикивал:

— Встать!

Пахарь-сеятель, как его назвал Гоберман, неподвиж­но сидел на кровати, понурив голову. Он не спал. Его глаза упирались в бетонный пол, С утра не вставал даже к пара­ше. По виду он был обыкно­венный деревенский мужик, крепко сложенный, высок и плечист, за многие годы за­дубелый на солнце.

— О чем так задумался?— спросил я, присаживаясь с ним рядом.

Он покосился на меня, явно не расположенный отвечать.

— А ни о чем! Так себе. Думать надо было дома, не здесь...

В минуты глубокого горя че­ловек не страдает, в нем все цепенеет, судорожно сжима­ется и обмирает.

Пахарь-сеятель даже не сдвинулся с места.

Мы посидели молча, нако­нец, он немного обмяк, что-то живое появилось на его угрю­мом лице.

— Семейство осталось. Пя­теро. Жена, трое парнишек и дочка.

— За что тебя взяли?

— Рындииа припаяли!

— Только и всего...

— На мой век хватит, и с избытком.— Он на минуту за­мкнулся, потом огляделся по сторонам и тихо, доверитель­но произнес: — Кто Рындин? Я его уважал, мужик простой, гвойский, никому худа не де-лгл, а теперь — враг народа. Может, и в самом деле кого-то возглавлял и что-то замышлял — не имею понятия. Что было меж нами, то бы-

выскакивали, посчитали, будто мы подрались, но он их от­странил, а мне поклонился; «Большое спасибо!». И уехал. А час спустя прибежал к нам на стан председатель колхоза Ягодин, перепуганный: «Ты что натворил, Матвей? Самого сек­ретаря обкома Кузьму Василь­евича Рындина чуть не при­кончил. Дождешься, он тебе это припомнит».

И верно: недели через три после этого получил Ягодин письмо. Велено немедля на­править меня в обком, такого-то числа, к такому-то часу. По­чему и зачем? Ягодин, конеч­но, напомнил: «Вот тебе и рас­плата!». Моя Татьяна запричи­тала: «На кого ты меня ос­тавляешь? Пропаду я без те­бя с ребятишками!». Сухарей насушила. Белье приготовила. А у меня даже приличной одежи не погодилось, чтобы туда показаться.

В обкоме дали мне пропуск прямехонько к Рындину, Встретил он меня хорошо, **и** вся тревога с сердца ушла. **В** отдельной комнате мы с ним больше часу беседовали, пили чай с вареньем. Рассказал я ему всю правду-матушку про наше житье. План по севу мы выполнили, хоть и подохла по­ловина коров. Корова не ло­шадь, баба не мужик. Всяко­му свое полагается. А после вызвал он своего помощника: «Возьмите моего гостя Матвея Петровича, сведите его а ма­газин и за мой личный счет оденьте-обуйте». Кабы знать, что через три года за тот са­мый случай попаду я сюда и станут из меня жилы мотать...

Матвей Петрович, или, как его наззал Гоберман, «сеятель-пахарь», снова понурился **и** уронил на руки каплю слезы, Я не стал его дальше тре­вожить.

Председатель суда и Гобер­ман продолжали играть в щелчки, а Арбесбауэр и Анд­реев услаждали себя анекдо­тами. Удивительное свойство людей: над ними занесен меч, а они смеются над веселыми выдумками: «Один еврей-трест, два еврея—синдикат, три еврея—оппозиция»... 4.

Внезапно все замолчали **и** уставились на железную дверь. Без причины она не отворя­лась. Вошли два солдата.

— Гоберман, на выход с ве­щами.

Он побледнел, судорожно сжал кулаки, поднялся из-за стола.

— Кажется, все! Как видно, подоспело время идти на сви­дание с господом богом. Про­щайте, товарищи...

— Суд Военной коллегии очень короткий, всего десять минут. И подсудимого, не до­прашивая по делу,—сразу в расход,— после длительного оцепенения известил нас пред­седатель суда.

(Продолжение **следует. Начало в № 207, 208).**

**1989\_20\_сент**

Уж он-то знал «законы» на­верняка. И его в конце дня тоже куда-то отправили. К сожалению, его фамилию я не запомнил.

Когда увели Гсбермана, мою сонную одурь как вет­ром сдуло. Мне отчетливо представилось: длинный ко­ридор, наручники, комната, где вершится суд, приговор из пя­ти слов и приглушенный вы­стрел. Может быть, я ошибал­ся, возможно, все это не гак?..

За окошком на улице шел снег. Мы все были беспре­дельно подавлены. Часа деа длилось тягостное молчание.

Вскоре привели с допроса Давыдова. В его черных гла­зах под густыми бровями пы­лало торжество. Он был до­волен и удовлетворен. Мы все от него о.шатнулись. Только Арбесбаузр подошел и смачно плюнул ему в лицо.

Что же все-таки происхо­дит? До ареста, читая матери­алы судебных процессов, ко­торыми были полны все газе­ты, я часто недоумевал: столь­ко врагов у нас объявилось, тысячи, миллионы, а почему же нигде ничего—ни перево­рота, ни открытых вооружен­ных выступлений, и граждан­ская война, про которую гово­рил Ежов, происходит скрыт­но? Нам подносили готовое: этот виноват по такой-то статье, тот—по другой, речи прокуро­ров и адзокатов, политически отточенные, но голые, без кон­кретных фактов и документов. Хочешь—верь, хочешь—не верь, **а** высказываться—закрой рот **на** замок. Отклики рабо­чих, служащих **и** колхозни­ков,—громить и уничтожать врагов народа,—сочинялись в редакции. Мы, журналисты, следовали, в фарватере НКВД.

Я это понял в свой первый «черный день».

Ни Гоберман, ни предсе­датель областного суда ни Арбесбау:р, ни Матвей Пет­рович—колхозник не были похожи на врагов, не брехали антисоветчины. Они были про­сто обыкновенными людьми, **как и** я, И первое, что меня поразило,— покорность! Од­нажды пришлось побыть на городском мясокомбинате, Животные покорно шли по узкой загороди **к** месту забоя, Там, при входе в цех, их ог­лушали тяжелым молотком в лоб **и** свежевали, С такой же покорностью ушел из камеры Гоберман, покорно ожидал своего конца Арбесбаузр.

А разве я сам при аресте сопротивлялся?

Но откуда покорность? От страха? От безразличия **к** сво­ей, судьбе? От сознания безысходности? От невозмож­ности доказать невиновность?

Мои тягостные размышле­ния вовсе не значили, что я совсем растерялся. Выяснив,

— Подай, говорю!

— Пригласите кого-нибудь из горкома...

— Я сам для тебя горком и обком) Понял? А ты теперь в наших руках, и никогда уже не видать тебе воли...

— Все разно не отдам!

— Эй, часовой, двинь ему по шее и отбери.

Я обернулся к тому:

— Если есть совесть, не трогай. — Потом достал парт­билет из кармана, поцеловал красную корочку и осторожно положил перед Стидухиным.

Тот бросил его в ящик сто­ла и усмехнулся:

— Кого ты разыгрываешь из себя? Видали мы таких чи­стых партийцев. Ты предал партию, сволочь!

**Он** выдрал из меня сердце и растоптал.

— Будь вы прокляты!—ска­зал я не менее злобно, чем он. — От какой змеи вы ро­дились?

Стадухин бешено выругал­ся, хлопнул кулаком по столу и толкнул меня в угол.

— Стоять! Смирно, руки по швам!

И предупредил стоявшего у двери часового:

— Проследи за ним. Не дремать, не спать, не садить­ся. Пусть узнает, как разгова­ривать.

Кто-то позвонил ему по те­лефону, и он ушел, прихватив со стола бумаги. Сержант ти­хо сказал:

— Встань поближе к стене, обопрись, так меньше уста­нешь.

А меня продолжало трясти.

За окном, тоже в решетке, продолжалась пурга. Ближние дома сначала бросали в темь расплыачатый свет, потом по­гасли, и я не мог сообразить: то ли эта жуткая темнота ме­ня ослепила, то ли я упал на дно ямы...

Так прошел мой первый допрос.

В конце концов я потерял им счет. Вторая ночь, третья, пятая, седьмая. У»ром с доп­роса—в камеру, вечером из ^ камеры—на допрос. Я обесси­лел, но продолжал все отри­цать. Обвинение было чудо­вищное: статья 58, пункт 7— вредительство, пункт 8—тер­рор, пункт 11—кон.рреаолюцн-онная организация. Зго была верная смерть. А я хотел жить! Жить! Стадухин угрожал. Изводил меня, лишая сна и отдыха. Наконец и он, очезид-но, устал, или же надоело ему мое упрямство. Не восьмую ночь он повел меня «вверх», к начальнику СПО майору По­левику. А я уже слышал от Арбесбауэра, что в кабинете Полевика избивают до полной потери сознания, у самого на­чальника управления Лапшина еще более изощренные спо­собы пытки...

сопротивлялся?

Но откуда покорность? От стреха? От безразличия к сво­ей судьбе? От сознания безысходности? От невозмож­ности доказать невиновность?

Мои тягостные размышле­ния вовсе не значили, что я совсем растерялся. Выяснив, какими способами дознания пользуются следователи, я невольно усваивал и метод за­щиты. Мне нужны были стой­кость председателя облсуда, его спокойствие и железная выдержка. Ни Гобермана, ни Арбесбаузре я в пример не брал. Вырос я в бедности и нужде. Мать всегда наставля­ла: «Терпи, сынок, в миру жить трудно, а терпеливому господь бог всегда пошлет помощь». А дедушка Андри-ан, бывало, говаривал: «На бо­га надейся—сам не плошай!» И верно: я терпеливо перено­сил всякую боль, смолоду ни на кого не надеялся, кормил­ся своим трудом, самоуком добывал себе знания. А кро­ме того, с мальчишеских лет был горделив: «Мы—уральцы, голыми руками нас не возь­мешь!» Теперь бы это хвас­товство да сгодилось. Я давал себе слово: **i**

«Буду терпеть! Терпеть! И терпеть!»—решил я. Кажется, Суворов или Кутузов говари­вал: «Терпение и время!» Наконец-то в коридоре раз­дался громкий звонок. Насту­пила блаженная минута покоя, зато глаза не сомкнулись. Вместо мыслей крутилась в голове какая-то рвань, корот­кая и острая, с ней невозмож­но было сладить и как-то ее упорядочить.

«Терпение и время! Терпе­ние! Терпение!». Больше ниче­го на ум не шго...

**5.**

Примерно через час надзи­ратель сорвал с меня одеяло:

— На допрос! Встазай тихо и быстро!

Я приготовился; сейчас Ста-духин начнет со мной рас­правляться! Но он сидел за сгояом и, не подымая лица от бумаг, коротко бросил:

— Ты участник праео-троц-кис! ской банды. Рекомендую сразу рассказывать. Или на­чнешь торговаться, как грос.и-тутка?

Я стоял перед ним, меня за­трясло: удар был неожидан­ным.

— Ну, открой рот!—злобно добавил он. — Чем скорее, тем для тебя будет легче.

— Прежде потребуйте до­казать,—с трудом выдохнул я.

— Еще чего! Это ты до­кажи...

Он вдруг спохватился:

— Партийный билет при тебе?

— Да-

— Почему его не забрали, когда сажали в подвал?

— Не положено. Из партии я не исключен.

— Подай сюда!

— Не могу! В чужие руки отдащгть партийный документ нельзя!

ночь он пов«л меня «аверх», к начальнику СПО майору По­левику. А я уже слышал от Арбесбауэра, что в кабинете Полевика избивают до полной потери сознания, у самого на­чальника управления Лапшина еще более изощренные спо­собы пытки...

**6.**

'После собрания областного партийного актива у меня еще тогда создалось о Полезике впечатление нелестнее. Делая доклад о разоблачении вра­гов нерода, он не выбирал выражений, доходил до кри­ка. На собрании царила тиши­на и тревога. У себя в каби­нете, большом и просторном, обставленном дорогой ме­белью, с ковром посреди ду­бового пола, ему было дозво­лено все, и он, что хотел, то и делал.

Стадухин что-то ему доло­жил. Полевик подошел ко мне и, не размахиваясь, ударил по скуле. У меня во рту хрустну­ли сломанные зубы, я отле­тел к стене и свалился с ног...

Так повторилось еще не­сколько раз, пока я не дал согласия. Как и у Гобермана, у меня появилось отчуждение к жизни, она показалась дальше немыслимой. Боль можно бы­ло стерпеть, но расправа и унижение достоинства челове­ка а беспросветной тьме кош­маров и ужасов подавляли. Я опустился и сник...

—. Теперь бери бумагу и са­дись писать личные показа­ния, — сказал Стадухин, — Пи­ши подробно и обстоятельно...

— Скажите, о чем?

— Вот тобе вопросник: чи­тай и отвечай!

Он усадил меня за отдель­ный столик, слов мне было не занимать, и я настрочил страниц двадцать, оболгал се­бя, превратив наши партийные собрания в антипартийные сборища, Он тща ельио про­верял мои показания, подска­зывал и указывал, если у ме­ня недос.[aec.ro](http://aec.ro) фан.азии. Од­нако, как он ни угрожал сно­ва повести к Половику, я признал только участке в ор­ганизации празых, а вреди­тельство и террор полностью опровергнул. В протоколе доп­роса, который сн потом изго­товил, террор и вредительство все-таки появились.

...Богомольные яюди истово молятся и квЮ'Ся перед гос­подом богом. А я перед кем мог покаяться? Я был молод, никогда не бит. Случалось, еи-дел несправедливость, нена­висть, злобу, но такую неслы­ханную жестокссть пришлось испытать на собственной шку­ре впервые. Выйдя с допроса, я проклял себя за слабость. И в камере ничего не сказал, Арбесбауср, Матвей Петрович у меня ничего не спросили. По моему побитому виду и угнетенному состоянию они сами безошибочно рассудили, каков результат.

**(Продолжение следует. Начало в № 207, 208, 213).**

**1989\_22\_сент**

После целой недели без сна и отдыха я в камере сел за стол, положил голову на руки и заснул. Вероятно, надзира­тель не раз командовал: «Встать!», но я ничего не слы­шал.

Лишь позднее, уже год ве­чер, Арбесбаугр потряс меня за плечо:

— Вставай! Успеешь после отбоя добрать. Теперь осгеоят в покое.

— Гоберман оказался прав: лучше расстрел, чем такой позор и мучения, — безнадеж­но сказал я. — Половины зу­бов не осталось...

А в голоае: «О господи! Так оболгать себя, сочинить столько лжи на себя! Как жить после этого? Как взглянуть в скорбное лицо мамы?».

На второй день, назерное, уже за ненадобностью, меня отправили в «черном вороне» в городскую тюрьму.

Снова хоть на короткое вре­мя я увидел чистое ледяное небо.

**7.**

Оказывается, председатель областного суда ещэ был жив. Его перебросили в политизо-лятор городской тюрьмы, что­бы он там одумался, тем бо­лее, в подвале НКВД не хва­тало мест. Мы встретились с ним, как давние знакомые. Он внимательно посмотрел мне в лицо:

— Не вытерпел?

— Сил не хватило, —- про­бормотал я в ответ. — Поле­вик доконал...

— Да, это палач настоящий. Мне с ним приходилось встре­чаться. Не здесь. В облсуде.

— Перед фашистом я не со­гнулся бы,—уверенно произ­нес я,—но туг не фашисты, а такие же, как мы, члены пар­тии. Я взываю к их справедли­вости, а они пинком в лицо.И заставляют насильно призна­вать то, чего не бывало.

— Это легче, чем искать и обезвреживать действитель­ных врагов, — хмуро заметил председатель суда. — Хватай любого, бей в морду, и вот тебе уже готовенький враг. Его к стенке, а ему повышение г.о должности. Но ты, парень, не унывай. Я слышал, военная коллегия Верховного суда от­была в Москву, сна сделала свое дело. В подвале НКВД и здесь стало просторнее...

Он не договорил, почему стало просторнее: услышал, так держи язык за зубами!

— Теперь, насколько я по­нимаю, суд будут вершить местные органы—трибуналы и тройки. Хрен редьки не сла­ще, но все-таки,..—с оглядкой добавил председатель суда.

Хоть черт, хоть поп станет

правду. Суд—это высший за­кон совести, справедливости и порядка!

Он подробно объяснил мне, о чем писать, на какие статьи закона ссылаться. За это я ему навек благодарен.

Мы просидели с ним рядом, подпирая голыми плечами друг друга, три дня, потом его снова куда-то отправили, но он в моем сердце остался как близкий дру^.

Наступил 39-й год. Прошел слух, что нарком НКВД уже не Ежов, а Берия. Ожидали добрых перемен, облегчения режима в тюрьме, но камеры были по-прежнему перепол­нены. В нашей два старика от удушья скончались. Однажды днем надзиратель втолкнул еще одного старика, седого, изможденного и еле живого. Когда железная дзерь захлоп­нулась, старик вдруг упал на колени и горько заплакал.

— Не расстраивайся, отец!— дружелюбно сказал ему си­девший в углу возле вонючей параши.—Никто здесь тебя не обидит.

— А я не потому, — чуть успокоившись, ответил ста­рик.— Еще в 1906 году, после беспорядков у нас в Злато­усте, я сидел в этой самой ка­мере, закованный в кандалы...

Он оказался рабочим с до­революционным партийным стажем, обзиненный в троц­кизме.

— За что боролись,—заме­тил кто-то и засмеялся.

Мне все-таки удалось вы­просить у надзирателя каран­даш и лист оберточной жел­той бумаги. Через него же я отправил жалсбу военному прокурору УралВО. Рассказал о насилии, о псбоях, о неделе без сна и попросил не считать мои личные признания дейст­вительными. Будет или не бу­дет от этого какой-нибудь толк—особой надежды не пи­тал, зато словно очистился.

Как и предсказывал предсе­датель областного суда, жало­ба Стадухина не миновала. На третий день надзиратель меня досгазил к нему.

Здзсь же, в нижнем этаже тюрьмы, в изолированной от мирз служебной камере, Ста-духин сразу накинулся:

— Ты чего, сам опомнился или кем-то настроен? Дума­ешь, позерят тебе? Скотина, гад, бледная спирохета, подо­нок!

— Я требую: верните мне мои личные показания. Я ок­леветал себя. Вы принудили.

— Я тебе, гад, таксе -"верну, что вовек не забудешь!—при­грозил , Стадухин и пригото­вился начинать новый Доп­рос. — Подохнешь, как парши­вая собака!

Он не договорил, почему стало просторнее: услышал, так держи язык за зубами!

— Теперь, насколько я по­нимаю, суд будут вершить местные органы—трибуналы и тройки. Хрен редьки не сла­ще, но все-таки,..—с оглядкой добавил председатель суда.

Хоть черт, хоть поп станет судить, вряд ли можно ждать от них справедливости.

— А против тебя есть чьи-нибудь показания?—некото­рое время спустя спросил он. — По закону необходимо не менее двух свидетелей об­винения и очная ставка с ни­ми. Иначе суд нз правомочен принять дело к производству.

И объяснил мне судебную казуистику. Я понял, что Ста-духин и в этом меня обма­нул. Подписывая протоколы дознания, я, однако, приметил, что нет ордера на арест, нет ничьих показаний, а только моя писанина. Это еще более смутило меня, обескуражило, и я в недоумении спросил:

— Могу ли отказаться от своих показаний?

— Трудно. Напиши жалобу военному прокурору УралВО, объясни, как следователь до­был от тебя признание. На дожды на ус-ex очень мало, но все-таки твой отказ—брак в работе следователя. Жалоба прокурору дальше Стадухина не пойдет, а уж он, несомнен­но, придумает...

Я понял намек. В камере было много народа. Рассчитан­ная примерно на шесть чело­век, она вмещала теперь не менее полусотни. Мы сидели на голом бетонном полу поч­ти нагие, стиснутые со всех сторон, потные и дышали, как рыбы, выброшенные на песча­ную отмель. Уши глохли от разговоров. Наверно, в чет­вертой преисподней не так жарко и тесно. Живые трупы, сброшенные в общую яму. А все равно в открытую, в пол­ный голос разговаривать было опасно. В каждой камере на­ходились «подсадные утки» вроде Давыдова. Намек, не-досказ, условный жест руками, кивком головы всегда довер­шали оборванную на чем-то опасную фразу.

— Гоберман погиб из-за собственной тупости. Подох­нуть, конечно, нетрудно, чик!—и готово. Но ты попро­буй все-таки выжить. Не надо разводить философию что и как, дурацкой теорией оправ­дывать моральную и душев­ную слабость. Мы не кисейные барышни, а коммунисты. Без рук, без ног, лишь бы рабо­тала голова, лишь бы светило солнце — жить можно и нуж­но!

Вот где открывался источ­ник его терпения и мужества.

— Ты давно в партии?— спросил он меня.

— С тридцатого года.

— Маловато! Значит, у те­бя первые испытания, первый урок. Но упал, не сдюжил. Так подымись и стой! Вый­дет—не выйдет, а обратись к военному прокурору. Дело дойдет до суда—отстаивай

но к!

— Я требую: верните мне мои личные показания. Я ок­леветал себя. Вы принудили.

— Я тебе, гад, таксе верну, что вовек не забудешь!—при­грозил , Стадухин и пригото­вился начинать новый Доп­рос. — Подохнешь, как парши­вая собака!

Я подошел к столу, стара­ясь сдержаться, ровно сказал ему прямо в лицо:

— Я был чес.ным больше­виком и постараюсь таким умереть!

Мое заявление его взбеси­ло. Он турнул меня так, что я не помню, как оказался на втором этаже, в одиночной камера.

Одиночная камера № 17 стала мне утешением. В ней для одного человека, после камер, набитых вплотную раз­горяченными телами людей, казалось просторно. Сколько же за многие-многие годы пе­ребывало таких, как я, в этом узком каменном мешке?

Я был доволен! Это была почти что свобода. Постоянно заглядывал в «глазок» надзи­ратель, воняла параша, круг­лые сутки светилась лампа под поголком, окно зарешече­но и снаружи заслонено же­лезным кожухом, и "все же на душе просветлело. Я еще не испытал до этой поры тяжко­го гнета тишины и томитель­ного одиночества, какое на­ступило позднее.

Примерно неделю под впе­чатлением последнего разго­вора со Стадухиным я еще сохранял бодрость, теперь пусть он попробует доказать! А я покажу раздробленные зубы. Однако бодрость и же­лание выстоять до конца вско­ре сменились гнетущим том­лением и безысходностью. Можно было сойти с ума. Не помогало никакое средство: ни физзарядки, ни прогулки от двери до окна—два шага туда, два обратно, ни пере­стукивание с соседними каме­рами. Еще в общей камере я быстро усвоил тюремную «аз­буку морзе», стук читал быст­ро и также быстро отвечал. Однажды я встал на табурет­ку, нашел в железном кожухе проржавевшую дырку разме­ром не больше копеечной мо­неты. Сквозь нее мне от­крылся прогулочный двор. По кругу цепочкой одна за дру­гой ходили женщины со скорб­ными лицами. Среди них я четко увидел жену сотрудни­ка партотдела нашей газеты Петра Трегубенкова, аресто­ванного месяца на три рань­ше меня. Как она постарела, осунулась и поблекла! На сле­дующий день я снова при­строился к моему крохотному оконцу в Живой мир и чуть не вскрикнул от недоумения и радости. Там гулял мой палач майор Полевик, в простой гимнастерке, без поясного ремня, заложив руки назад. «И явится время отмщения!»— вспомнилось мне давнее изре­чение.

**(Продолжение следует. Начало в № 207, 208, 213,217).**

**1989\_27\_сент**

Чтобы убедиться, не уложить с пола до потолка,

ошибся ли, полный нетерпе- Десятки раз я сбивался со ния, я тотчас же постучал в счета, **nOiOM** начинал считать стену деревянной ложкой и заноьо, огромные цифры за-сгросил сидевшего по сосед- поминались с трудом... ству инженера Мирошникова, И вдруг нежда+жо-негадан-известно ли ему что-нибудь, но—военный трибунал. Не Он ответил мне: «Да! Полевик приезжий, а местный, из воен-сидит на первом этаже, как ного гарнизона, раз под твоей камерой. Мне заседание по моему судеб-сказал надзиратель». И даль- ному мелу военный триоунал ше добавил: «Теперь они при- пробел по-военному: быстро и нялись друг за друга!» коро.ко. Кроме судей присут-

**Я** снова попросил карандаш сковал только Стадухин. Ни и бумагу. Моя жалоба воен- свидетелей, ни оовинителей, ному прокурору пошла преж- ни защитника. Задали два-три ним путем. Никакого ответа, вопроса и объявили приговор: И Стадухин помалкивал. восемь лет тюремного зеклю-

Меня словно забыли и вы- нения и четыре года ссылки • черкнули из списка живых. отдаленную местность. Вреди-

Семь месяцев в одиночке, тельство не доказано, террор без дневного света, без свеже- тоже. Осталось лишь обвине-го воздуха. **Я** мог рас про- ние по статье 58, пункт 11, щаться с жизнью **от** тоски, **от** будто я был завербован в **ор-**безмолвия и **от** плохого пи- ганизацию правых бывшим по­тения: в день 400 граммов мощником Рындина—Кричев-черного хлеба, три кружки ским. Голое обвинение, Кри-кипятка и три миски жидкой невский к тому времени был баланды. Вот когда пригоди- расстрелян, суд взял лишь лась память **о** моем голодном признание, написанное мной детстве и скудных пайках в лично под диктовку Стадухи-начале тридцатых годов. на, после пыток и истязаний.

И все-таки выжил! **Я** заявил об этом суду, **судьи**

Думаю, в этом помогла **еще** переглянулись между собой, привычка трудиться. **Я** изме- они, кажется, поверили и **все** рил спичкой кубатуру моей же не оправдали, одиночки **и** принялся подсчи- Стадухин и **тут** победил, тывать **в** уме: сколько вме- **(Окончание,**

стится **в** нее коробков, **а за-** Начало **в № 207, 208,**

тем и спичек, если их плотно **213, 217, 219).**